

Старик

Повесть

Возраст человека —
это калечество его лет

1.

— Не верю! Не верю! — орал Марк на пробах.

Ах, ты ж, Станиславский, мать твою за ногу! Он не верит! Большой знаток жизни! Марк Пушинский — кто ж его не знает? Выдающийся кинорежиссер. Заслуженный деятель искусств. Все его уважают, все с ним считаются. Он — метр. А мне он — вроде крестного. Я его с детства всегда называл "дядя Марик". Друг семьи. Падла. Что меня с детства в нем раздражало — так это его золотые зубы. Сейчас, правда, когда он забурел, он их поменял на металлокерамику. Следит за собой. Ему никогда в жизни не дашь его 55 лет. На киностудии, наверное, нет ни одной юбки, на которую он не положил бы свой похотливый глаз. Милейший человек! Он далеко не дурак, справедливости ради надо отметить. С ним бывает интересно. Куча знакомых в самых верхах. Энциклопедия в голове. Но сволочь — редкая.

Когда умер папа, Марк проявил заботу о маме и обо мне тоже. Он даже стал у нас чаще бывать, чем когда папа был жив. Тогда он еще работал в театре. Мне было 15 лет, когда папа утонул. Самое время определяться. Марк посоветовал засунуть меня в театральное, на актерское отделение. В этом он помог. Его первая жена была женщиной "меркантильной и ограниченной", а другими словами, она не могла привыкнуть к тому, что у Марика сменялись бабы, как перчатки. Она, в конце концов, его бросила. Но это было уже после папиной смерти. И с тех пор он к нам зачастил. Мне он рассказывал кучу всяких интересных вещей — о театре, о литературе, и вообще "за жизнь". Но тут все было просто — он положил глаз на маму. Она была далеко не старухой, да и с мозгами там было все в порядке. Я этого тогда, по своей наивности, не видел. Дядя Марик — как свой, родной.

И вот как-то раз Марк пришел к нам под вечер и заглянул сперва ко мне. Я этого вторжения никак не ожидал, и даже не успел загасить папиросу. Не то чтобы я очень боялся, просто жалел маму. Я-то уже год, как начал курить. Увидев мое смущение, Марк повел себя дипломатично:

— Ну, ну, Витек! Не надо так резко. Ты слишком усердно изображаешь, как ты занят уроками! Будущему актеру надо играть тоньше. Вытащи из книги папиросу — она сейчас загорится.

— Дядя Марик! Только пожалуйста, маме — ни слова. Я думал, это она идет.

— Ну что ты, Витек. (Я б его убил за это "Витек". Папа звал меня просто Витя, а мама чаще — Витюша.) Мы же взрослые мужчины. Я не доношу. Но... Если уж так сильно хочется, возьми хорошую сигарету, не травни себя, — он достал пачку "Кэмэл" и предложил мне. — Если и правда, хочется закурить.

Я взял штатовскую козырную сигарету и подумал: "Легко тебе говорить. А бабки где? Можно купить десять пачек "Беломора". Кстати, батя именно его и курил. Ну и что? Марк продолжал:

— Идея, Витек! Если ты не хочешь огорчить маму, есть выход. От тебя сейчас все равно никотином прет на километр. Тебе надо проветриться. В летнем сейчас идет американский фильм про ковбоев. Две серии. Как?

— Классно, конечно, но у меня... это... Нету...

— Не волнуйся, я все понимаю. Сам таким был. Вот, возьми, это тебе, — он засунул мне в карман рубашки сложенную ассигнацию.

— Последний сеанс в восемь. Успеешь?

— Да. Я уже уроки сделал. Вот только как мама?

— ..А, да я ей сам все объясню. Она тебя пустит. Надо же будущему актеру видеть, как играют настоящие кинозвезды! Или я не прав?

Не знаю, что он там маме говорил, но меня в кино пустили без проблем. Я же, вместо того, чтобы преспокойно себе идти в кино, зацепился с друзьями. Они, конечно же, узнали, что я сегодня — богатенький Буратино, и сели на хвост. Раскрутили меня на пиво. Откуда-то взялась гитара, и мы два часа просидели под забором, с полным кайфом, пока эти придурочные ковбои палили друг в друга из кольтов. Потом я спохватился и побежал домой, потому что уже совсем стемнело, а часов у меня не было.

Возле самого дома меня удивило то, что в окнах света не было. Правда, скорей всего, Марик тоже пригласил маму в кино, и они еще не пришли. Тем лучше. От меня, наверное, несет, как из пивной бочки. Лягу тихонько и буду спать, как зайчик. Я подошел к дверям, но они оказались незапертыми. Это уже странно. Изнутри доносились непонятные звуки, какая-то возня, шепот. Может быть, кто-то залез к нам в квартиру? У ме-

ня все похолодело внутри. Я замер и прислушался. Различил мамин голос, тихо-тихо:

— Нет, Марик, пожалуйста, не надо. Витя же скоро придет!

А голос из темноты ответил ей:

— Там две серии. Он придет не раньше десяти. Лида, ну давай же!

— Нет, я так не могу. Пусти.

Я подался всем телом вперед, и дверь скрипнула. Послышался звук, словно кто-то скатился с дивана на пол. Потом включился свет, и я увидел Марика на карачках у дивана, а мама сидела и куталась в шаль, щурясь на лампу.

— А, это ты, Витек, — чересчур бодро произнес Марк, — Что, кино уже успело кончиться?

Я хотел было поинтересоваться, успел ли он, но постеснялся маму.

— А вот, кстати, и она, — сказал Марк, показывая мне запонку, которую он только что, с понтом, нашел на полу.

— Я полез ее искать и задел шнур...

А еще актер! Меня учил не переигрывать! Но если ты задел шнур и вырубил лампу, то почему вы оба щуритесь, как на яркое солнце? Ну, Марк, не ожидал... Не то чтобы это меня сильно поразило. Я уже знал, откуда берутся дети. Но моя мама... Наверное, это был типичный эгоизм с моей стороны.

С тех пор Марк стал бывать у нас реже, улыбки его стали фальшивей. Мама долго тогда пыталась оправдываться, хотя это было лишним, я думаю. Она ведь его не любила, как папу, я это точно знаю. Мы продолжали видеться: у нас, у общих знакомых, но "дядя Марик" перестал быть родным. Мы с ним никогда не выясняли подробностей, но отношение изменилось. А потом он подложил мне свинью на выпускном экзамене по специальности. Он был в комиссии, а мне попался монолог Чацкого. Марк подошел ко мне и шепнул, что Вильницкий, председатель комиссии, балдеет на новаторстве, любит гротеск. Короче, все, что мы репетировали раньше, — не годится, это не понравится. Я клюнул на эту наживку, и мне еле натянули тройбан. Потом уже Людя Соколова (дочка Веры Степановны, которая вела у нас сцендвижение) рассказала, что Вильницкий чуть не взорвался от моей интерпретации Грибоедова:

— Марк Александрович, это и есть ваше хваленое протеже?

А Марик (разговор шел на кафедре, после экзаменов), спокойно ответил:

— Вы имеете в виду эту юную бездарь? Да, я знал его отца. Мальчик

остался сиротой, жалко его. Но это не значит, что кто-то собирается сделать из него Качалова. Надо трезво смотреть на вещи. Я это давно понял.

Мелочь, а приятно. Вот какой Марк Александрович Пушкинский душевный человек.

2.

Но это так, кстати о птичках.

Много потом было всего. Я кое-как устроился в ТЮЗ и изображал там всяких козлов. Иногда мне даже нравилось. Особенно, когда выбегаешь на авансцену и орешь в зал, сидя на метле: "Деточки! А куда Аленушка с Иванушкой побежали?". И весь сопливый зал тыкает пальцами в сторону, противоположную истинному положению вещей. Это — единственная ложь, которая доставляет мне радость.

Так вот, среди бела дня взорвалась бомба: Пушкинский был на фестивале в Милане, познакомился с самим Энрико Бранцотти, и они собираются здесь, у нас, снимать фильм совместного производства! Еще бы не бомба! Ведь у Бранцотти "Оскар", как у собаки — блох. Надо было суметь уломать его приехать сюда, делать кино. Сценарий, они, вроде бы, написали вместе: своеобразная окрошка по мотивам русской классики. Тут и Толстой, и Достоевский, и Антоша Чехонте. Всего понемножку. Рабочее название фильма — "На склоне", про героя, который в молодости жил хорошо, но неправильно, а к старости стал жить правильно, но нехорошо. На главную женскую роль шла Луиза Бранцотти (а кто спорит?). На мужскую же (возрастную роль) объявили конкурс среди нашего брата. То-то было!

Я, конечно, понимаю этого Бранцотти: не то чтобы он так уж уважал маэстро Пушкинского. Все, что он говорил на публику — это из чистой вежливости. Не надо забывать, что Марк сделал себе "заслуженного" на очередной ура-патриотической проституции. Это всем известно, но кто ж этим не грешил? Другое дело, что кроме этого он еще кое-что умел, это факт. Но дело даже не в том: Бранцотти отлично понимал, что делать кино у нас — это чистая шара по сравнению с Италией, не говоря уже о Голливуде. Бесплатное удовольствие. Ну, выложит он полтинник баксов (тысяч), так ему не только сыграют, отснимут, смонтируют и озвучат, так еще и поцелуют (именно туда, куда вы подумали). Фильм, насколько я понял, без особых трюков, так себе, психологический триллер, как сейчас говорят. Никаких тебе авианосцев, Шварценеггеров, катастроф, массовок. Все достаточно камерно. Зато родимые просторы, березки, степи — о натю-

рель, бесплатно. Как замечательно будет смотреться его Луиза в стог русского сена! Пушкинский было заикнулся насчет того, чтобы одну из сцен снимать в Париже, благо, сценарий это предусматривает, но умный итальянец заметил, что парижский эпизод снимается при спущенных шторах, так что Эйфелевой башни все равно не видно, а раз она не фигурирует в кадре, то все это можно воссоздать и тут, на месте. Пушкинскому оставалось только скатать губу. Так что, Маричек, сиськи на Мулен-Руж покрутятся без твоего участия, а вместо омаров от Максима будешь хавать кильку в томате, заслуженный ты наш.

Но это все — экономическая подоплека. Если же говорить серьезно, то Бранцотти — мужик с головой, его на мякине не проведешь. Так, как он работает с актерами, это поискать. Я видел его фильмы: "Мертвый павлин" и "Самолет летит" — это нечто! Там и сюр, и абсурдизм. Актерский ансамбль великолепен. Каждый в отдельности и все вместе. Поэтому наша актерская гильдия загудела, как улей, потому что сняться у Бранцотти — значит автоматически попасть в международную обойму, и в Голливудский компьютер, кстати, тоже. Вот они все и кинулись на пробы.

Многих сразу же отшил Марк: очевидные дебилы. Несколько завалил Энрико — он неплохо знает русский, а из тех, кто прошел эту Сциллу и Харибду, еще парочку отозвали по настоянию Луизы. Было ясно, что она не может лечь с ними в один стог, даже в кадре. Таким образом, нас осталось всего пять претендентов на роль, и я в том числе. Двое из драматического, двое — просто безработных актеров, но с хорошим послужным списком в кино, и один я — тюзовское отребье. Когда мы собирались вместе, я понимал, что мои шансы невелики, а они смотрели на меня, как смотрят любящие родственники на ракового больного. Когда мы пробовались в эпизоде с героем "в молодости" — все шло нормально, я даже видел, как Луиза уже предвкушала мое соседство по стогу. Бранцотти тоже был доволен, но Марка, видимо, жаба задавила. Поэтому, когда пошли пробы с гримом (состарившийся герой), — Марк при всех заорал на меня:

— Не верю! Не верю! Ты понимаешь, Витя, что твоему герою семьдесят лет? Здесь твое молодое позерство не подходит! Это надо сыграть изнутри, так, чтобы мать родная не узнала. Нет, это полный примитив, никуда не годится.

Бранцотти вежливо перебил его и что-то сказал. Мне, в отличие от Марка, было хорошо видно, как каблук Луизы атаковал его ботинок. Марк несколько остыл и сказал:

— Спасибо, на сегодня все свободны. Мы посоветовались с господи-

ном Бранцотти и решили окончательные пробы перенести на месяц. Ему пока нужно съездить в Италию, уточнить насчет финансирования. Так что у вас будет время лучше подготовиться. А тебе, Витек, я честно скажу: ты мне как родной. Без обид, ты же меня знаешь: я бы тебе с удовольствием дал эту роль, но не за красивые же глазки! Ты убеди меня, убеди всех, чтобы все поверили, — и она твоя!

Когда все разошлись, я еще раз прикинул свои шансы: мне только немного перевалило за тридцать. Как раз — ни туда, ни сюда: для старика не слишком зеленый, да и за юношу еще сойдет. Я хотел еще раз переговорить с Марком — неужели он не видит, что у меня действительно неплохо получается? Или это его обычный сволочизм? Тогда мне уж терять нечего, по крайней мере, выскажу все ему в глаза. Я дождался, пока народ немного рассосется и заглянул в дверь группы. "На склоне" — гордо гласила табличка на двери, — "Реж. — Бранцотти-Пушкинский". Напротив входа стоял шкаф с инвентарным номером на задней панели из ДВП, о которую уже загасили не один окурок. Марк специально поставил шкаф у входа, на манер ширмы. Я еще не выглянул из укрытия, как различил грудное контральто Луизы:

— А этот последний актер (она говорила: "актер") — по-моему, *dulcissimo*.

— Кого имеет в виду синьора? — прикидывался дурачком Марк.

Бранцотти переспросил:

— *Vero? Ti piace, sole mio? Allora, per proba...*

Но тут опять влез въедливый голос Марка:

— Это все решится "син проблем", как видите, актеры у нас "ин кандисьоне". Я надеюсь, Энрико (он понизил голос), что вы приедете до двадцатого числа? Так вот, я уже сейчас вас с Луизой официально приглашаю на свой юбилей... Нет, никакой шумихи, никаких репортеров... Все будет на моей... вилле у моря. Совсем по-домашнему. Я очень обижусь, если вас не будет.

— Граци, Марчелло, — пробасил итальянец, — мы постараемся, обязательно. Граци.

Вот оно что! "Никаких репортеров"! Старый плут. Естественно, он мог бы вполне расколоться на кабак для своих гостей, но это же совсем другая песня! А представьте: Бранцотти и Марик в "домашней обстановке"? Я уже заранее видел их фото в обнимку где-нибудь на обложке киноальманаха, на марковской даче ("вилле", — сноб проклятый!), в гамаке. Марк, естественно, потом будет всем заливать:

— А что, говорю, брат Энрико? А он мне отвечает: "Да, так вот, брат...".

Я не стал светиться, тихонько закрыл за собой дверь и решил про себя: "Я на этот юбилей тоже как-нибудь попаду". У меня есть месяц с небольшим. Погоди, Марк! Будет тебе паблисити, а у меня будет — роль, или пусть меня покрасят!

3.

Когда я выходил со студии, остановился у вахты, чтобы позвонить. На вахте сидел дядя Миша, старый вохровец, такой же седой, как и десять лет назад. Фамилия у него была необычная: Дозвон. Не Довзон какой-нибудь, а именно Дозвон, словно его предки все время кому-то дозванивались. Михаил Устинович Дозвон. Сам он говорил, что у него дед из французов. Очень может быть, что какой-нибудь д'Озвон осел в России после 12-го года, суть не в этом. Прозвище у него было уникальное, хоть и за глаза. Уж очень не любил Устиныч, когда в списках его инициалы ставили перед фамилией, а не после. Это его просто бесило. А так — милый старик. Я попросил телефон, он любезно разрешил, "только недолго", справился, что там опять Марк Александрович затеял снимать.

Я звонил Сане, своему школьному другу:

— Да, это я, — услышал я в трубке родимый голос. — Привет, грязный подонок. Водочки попьем? У тебя как с финансами, голяк?

— Нет, алкогольчик, кое-что еще наскребется. Я к тебе по делу.

— Давай, рассказывай, — и вдруг: — Линда! Сука! Пошла вон! Вон пошла! На место, я сказал!

(Линда — это очаровательный русский спаниель.) Затем я услышал еще более конкретный адрес, куда посылалась Линда, и наступила пауза.

— Сань, алло! Я тебя только хотел спросить: у тебя сейчас дача свободна? Можно пожить, или как?

— А ты, что, один собираешься там жить? Тогда, скорей, или как.

— Сань, мне роль дают, очень крутую. Мне надо некоторое время побыть одному, ну, это... в образ войти, что ли. Дома не могу, все достало.

— Вот что с человеком делает алкоголизм, — здраво заключил Саня. — Ну, значит, я жду. Зацепи по дороге гранату, а похавать у меня есть. Пока!

Я повесил трубку, поблагодарил Устиныча и вышел на улицу. У меня созрел план.

4.

План получался действительно грандиозный. Люблю я мистификации всякие. Попадался мне как-то в институте рассказец О'Генри "Перестарался" (или как-то так, "He overdid it" — по-английски. Перевод мне не попадался). Поди, знай, когда тебе что пригодится! Там, короче, актеришка хотел получить роль деревенского простачка в мелодраме с участием некоей примадонны. Фамилия у нее была аристократическая, не помню уж, какая, все равно — псевдоним. А сама она была из глухой деревни, и настоящая фамилия была, конечно, плебейской — то ли Джонс, то ли Фокс, если не Смит. Чтобы убедить ее в достоверности перевоплощения, парень едет на рекогносцировку в ее деревню (Cranberry Corners) — что-то вроде наших Чертовых Куличек — и узнает всю ее подноготную, собирая деревенские сплетни. В итоге он настолько убеждает великую актрису, что она, не раскусив обмана, бросает все к черту — театр, премьеру, постановку — и срочно уезжает в деревню. Несостоявшийся партнер примадонны понимает, что он перестарался.

Вот так и я. Думаю, О'Генри простит мне этот маленький плагиат. Нет, более того! Я бы назвал это творческим развитием темы! Дело в том, что у Марка где-то в Кремидовке живет родной дядя, о котором он не раз упоминал. Дядя Коля был учителем литературы, воевал, после войны был репрессирован по доносу, а потом, после Сибири, ему что-то скостили, выслали жить на 101-й километр. Именно он в свое время, когда Марк еще был мальчишкой, и они жили вместе, привил отроку интерес к литературе. Марк всегда тепло и с тоской отзывался о нем. Меня только удивляло, как это при такой ностальгии он ни разу не навестил дядю, с тех самых пор. Это была икона, но за стеклом музейной витрины, пardon за тавтологию. Вот я и подумал, а что, если...

5.

Маме я сказал, что мы с трупой едем на гастроли, возможно, что надолго. В театре я взял отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам. Там поворчали, но подписали все-таки, потому что на мои-то роли замена была. Я был тогда даже не Иван-дурак, а всего лишь Кощей на один акт, да еще Баба-Яга, и вот этот, как его, "Сниб, снаб, снурре" — из Снежной Королевы. Это все весело, забавно, особенно, если не тридцать раз в сезон, а по сложности перевоплощения это сравнимо лишь с камнем преткновения актерского мастерства — вечной ролью "Кушать подано".

С Сашей мы договорились. Он дал мне ключ от дачи, но попросил при

этом не ломать его кровать. Мы основательно "попили водочки" и даже начали спаивать Линду. Потом Саша устал и отключился, — я еще подумал: "Какой слабак...". Утром мы позавтракали "братской могилой" (все те же кильки в томате), а Линда так и не выползла из-под шкафа. Спину ломило после ночи на стуле. К часу дня я все-таки выполз наружу и поплелся на вокзал. Взял билеты до этой самой Кремидовки, туда и обратно, и отправился навстречу приключениям.

Прибыв на место, я зашагал от станции к школе, и мне вспомнилась загадка, известная в свое время: Что общего у атомной бомбы с коммунизмом? — И то, и другое, стирает грань между городом и деревней. Тут же были стерты грани между дорогой и кюветом, между русским и украинским, между трезвостью и нормой жизни. И еще приятная деталь: идешь по улице и не ощущаешь шоры на глазах, в виде домов. Чтобы увидеть небо, недостаточно просто поднять глаза, а надо еще повертеть головой, от горизонта к горизонту. Земли визуально становится меньше, и хочется простить ей все ее маленькие изъяны. Невероятное количество кузнечиков — из-под ног. Запах навоза загадочнее любых "Парфюм де Франс", и начинаешь понимать, что женщина — не единственное достижение Творца, хоть они и пытаются уверить нас в обратном. Гуси мычат, собаки квакают, блеют вороны. В общем, благодать.

6.

Вот и школа. Двухэтажная, квадратная, розовая, как мечта детства, — и пустая. Техничка бальзаковского возраста моет коридор. Я поздоровался и сделал попытку узнать, как найти дядю Колю. Я, мол, из города, от родственников, с приветом.

— Який Николай Иванович? А-а-а... Так вин вже давно на пэнсии. Так, так, вам скажуть. Я ж сама в нього вчилася. Отак пидете, биля церкви, та й у самый кінєць. В нього така хата голуба. Побачитє.

Отлично, значит он, по крайней мере, жив. Я узнал его сразу, как только увидел. Это был худощавый старик лет восьмидесяти, во френче цвета чайной розы. В молодости, он, вероятно, был выше меня, если сейчас я был только на пару сантиметров выше его. Жиденькая бороденка, редкие седые волосы и очки в пластмассовой оправе, с большими диоптриями. Божий одуванчик! À là академик Зелинский (тот самый, который изобрел противогаз).

— Здравствуйте, Николай Иванович! Я не ошибся?

— Доброго здоровья, молодой человек. Да, я — Николай Иванович. Может, зайдете?

— Спасибо, — я закрыл за собой калитку и приблизился к нему. — Я тут проездом, вот Марк Александрович и просил меня заглянуть к вам, передать привет.

— Так вы от Марика? — засуетился старик, — что ж мы стоим? Пожалуйста в дом! Проходите, будьте как дома, — он взял меня за руки так, будто боялся, что я сейчас исчезну.

Он завел меня в прохладную комнату, усадил на стул и стал созерцать, так, что я первый нарушил паузу:

— Марк Александрович... В общем, дядя Марик просил узнать, как вы тут... Он сейчас очень занят, особенно последнее время... Иногда, знаете, даже и письма некогда толком написать... но это ничего не значит...

— Да-а. Спасибо еще, что хоть открытку прислал в прошлом году, с Днем Победы. А так — думает, наверное: что толку писать — старик все равно из ума выжил...

— Ну что вы. Я уверен, он так не думает. А писать письма — это действительно не всегда получается. Подробно — не выходит, а по две строчки, для проформы — тоже не лучший вариант. Он так и говорил.

— Значит, лучше совсем ничего... — он загрустил, помолчал некоторое время. Я не встретал, пока он сам не улыбнулся и не сказал: — Вы уж извините, а то я на вас набросился. Это сгоряча. Я все понимаю, жизнь сложная. Когда сидишь без дела, скучаешь, а когда занят? Думаешь, где бы только минуту выкроить! Где уж тут скучать? Знаю, знаю и не обижаюсь. Но все-таки, за столько лет мог бы хоть раз заехать ко мне, ведь, небось, по всей стране катается! Что ж, мне о нем только в газетах читать? Ладно, ладно, не буду.

Мы поговорили о том, о сем, старик немного отошел. Я рассказал ему, кто Марк для меня — друг и учитель. Поговорили о моей работе в кино, о Марке. Потом я порасспросил его. Он отвечал охотно, и мои уши были полностью в его распоряжении. Где он воевал, за что его репрессировали:

— Вот так, в один прекрасный день... Я так и не понял, за что... Бог его знает, нашелся же какой-то мерзавец...

Он говорил "Што" и "Бох", то есть вполне по-русски, в отличие от Марка ("Ч-Ч-Ч-Что" и "Бог-г-г-г"). Я выпустил множество фактов из его рассказа, поскольку все внимание невольно сосредоточивалось на том, как он произносит слова, звуки. Я анализировал интонации, темп, особенности речи, связь с жестами, мимикой, манеру делать паузы, подчеркивать отдельные слова. Изучал его поверхностно и формально. Но даже знакомство с речевым аппаратом было для меня делом не последним. Еще

он очень забавно произносил "мЭтр", "сантимЭтр", "катЭр", т. е. с твердой "Е", а также "кОнцерт", "кОнсерватория" — с латинским, не "акающим", безударным "О", как в наше время произносят разве что "кОнтратака". Так, будто эти слова еще не вошли в обиход, и с ними обращаются, как с почетными гостями нашей речи, а не запанибрата. Да, Николай Иванович, если это есть, то уж есть в крови. Я уловил вопросительную интонацию и затем паузу: старик ждал ответа. Мне стало неловко перед ним, хотя я не мог сказать, что слушал его не внимательно. Я просто совсем НЕ ТО слушал.

Извинился и переспросил. Даже попытался ответить, но не уверен, уловил ли я контекст. Старик, очевидно, решил, что мне его болтовня наскучила и предложил попить чаю в саду, под яблоней. Я не противился.

7.

По клеенке, где местами еще проступал узор, ползали жуки.

Николай Иванович достал варенье к чаю и даже поставил на стол графинчик вишневки.

— Сам-то я не пью, здоровье уже не то, а вот для гостей держу, — пояснил он.

Я не отказывался, учитывая вчерашнее. У меня даже мелькнуло подозрение: а не потому ли старик предложил мне "промочить горлышко", что у меня вид — как с большого бодуна? Что ж, очень мило с его стороны. Он улыбнулся:

— Из всех фильмов Марика я видел только один, давно еще. По-моему, "Огненный шквал", или как-то так.

— Да, был такой фильм. За него дяде Марику дали "заслуженного".

— Не знаю, не знаю. Может, фильм и неплохой, да только видно, что его делал тот, кто сам войны не видел. А вот, например, Лев Николаевич...

— Ну, знаете... Тут я судить не могу. Меня тогда и на свете не было.

— Да, молодой человек. Но есть такие вещи, которые можно почувствовать. Я понимаю, что Марик — для вас большой авторитет. Бога ради.

— Он старался максимально точно воссоздать эпоху, — вставил я.

— Вне всякого сомнения. И это стремление выше всяческих похвал. Но мне лично этот фильм...

Бедняга! Он считал меня марковским апологетом и щадил мои чувства!

— Вкратце об этом "эпохальном" произведении: Действие разворачивается в 43-ем, где-то у моря. Немцы заняли крупный порт, и командование не знает, как их оттуда выкурить. Нерешительные, боящиеся ответст-

венности генералы бесконечно совещаются, а в это время от немецких снарядов гибнут люди. Но вот в штабной блиндаж входит, нет — врывается молодой бравый полковник и сразу рубит Гордиев узел: "Вот здесь надо атаковать!" — говорит он замшелым генералам, учит их жить. А те — только и рады переложить на кого-то ответственность. Они, правда, еще пыхтят: "Этого в истории еще никто не делал. Это просто невозможно!". Но молодой орел говорит им: "Я сам поведу этот десант!". Вот он идет в бой, рвутся бомбы, его смывает волной за борт. Но такого человека так просто не сломить. Он рвется вперед и побеждает. Пафос. Помпа. Все бы хорошо, да только у главного героя — чересчур густые брови. Вот и патриотизм у него вышел какой-то казенный, — продолжил он. — Все правильно: вы думаете, я не орал: "За Сталина!""? Еще как орал! Как все. Но при этом еще и Родину любили, я имею в виду не показуху, конечно. А у него как-то все театрально, в плохом смысле... Не знаю.

Поражала энергия, с которой все это говорилось. Достаточно здраво и точно. Такое впечатление, что он смирился с навязанной ему годами и социумом ролью этакого безобидного маразматика, но временами проскальзывает совершенно нормальный человек.

Словно в подтверждение моих мыслей он уже чисто по-стариковски, игриво сказал, обращаясь ко мне, как первокласснику:

— Молодой человек, а что это вы варенье игнорируете? Это, между прочим, абрикосы исключительные. Весь фокус состоит в том, что перед тем, как закипит сироп, надо добавить капельку лимона...

Калитка открылась и к нам впорхнула некая юная дива. Она подошла к старику, чмокнула его в щеку, потом покосилась на меня. Ее лицо было молочно-белым, как мраморная доска (не оскверненная письменами), и было странно, как это в разгар деревенского лета можно остаться такой бледной.

— Галочка, детка, познакомься. Это Виктор.

Я оторвался от созерцания прочих форм и тоже что-то сказал. Чаепитие продолжили вместе.

— А что, правда, вы артист?

— Ну, это громко сказано, — я очень скромно отвел очи долу. — У вас тут прекрасные места, знаете.

— А в старом монастыре не были?

— Нет еще. Я вот только приехал.

А Николай Иванович продолжил:

— Если хотите, Галя вам все покажет. Места тут очень красивые.

А я пока на часок прилягу, что-то я устал. Вы погуляйте и возвращайтесь. На электричку вы уже все равно не успеваете, ближайшая будет только утром.

Старик пошел в дом, а дива повела меня по местным красотам. По дороге мы раскланялись с десятком-другим кумушек, и Галя всякий раз уточняла: "Это из города, к Николай Ивановичу приехали, артист театра." По дороге я узнал, что Галя ему никем не приходится, но его тут все любят и уважают. Хоть родственников нет, а — кто-то дрова поколет, кто-то стирает, помогают ему люди.

— А вы ему кто?

— Да, в общем, никто. Так, попросили меня ему привет передать.

— А-а... (очень зрелищный вздох). А то у него в городе есть племянничек. Единственный. Так он только открытки шлет. За столько лет ни разу не был.

Мы сходили к развалинам монастыря, обошли их вокруг, а она все щebetала: интересно ли работать в театре, женат ли я, часто ли бывают гости за границей, от чего я такой грустный все время. Потом она предложила слазить в погреба: "Представляете, там недавно археологи были! Оттуда есть ход в катакомбу! Пойдем?". Она говорила с жаром, глазки блестят, бегают туда-сюда, как маятник часов. Молодая совсем.

В катакомбы я не полез. Сослался на усталость с дороги. Не знаю, зачем я это сказал. Хотя, вру, знаю, конечно. И не то чтоб неинтересно, да и не устал я ничуть.

8.

Вечером старик был в ударе. Он так наехал мне на уши, что я еле успевал запоминать. Истосковавшись по общению, он рассказывал сам, и мне не надо было ничего выспрашивать. Показывал мне семейный альбом. "Вот это мой отец", — достал он фотографию на толстом картоне, со множеством гербов на обороте. Бравый усач смотрел на меня, и я сразу понял, почему у фото отрезана верхняя часть, на уровне лба. Старик, тем не менее, объяснил:

— Золотопогонник, белая кость. А вдруг увидел бы, кому не надо? В 37-ом пришлось отрезать. Фуражечка-то царская...

Было еще много интересных фоток: Марик в нежном возрасте, Марик школьник, Марик на выпускном вечере.

— Я его тогда называл "Марочка-помарочка". Прямо беда у него была с почерком, — заметил старик.

Интересная деталь. Надо запомнить. С удивлением узнал на одном из снимков свою маму. Они стояли вместе с Мариком и несколькими ребятами. Мама была отмечена крестиком. Я спросил, что это значит.

— Это Марик мне прислал, еще когда учился на первом курсе. Тут — его друзья. А эта девушка — Лида. Он тогда написал, что это его будущая жена. Славная дивчина. Она как-то была у меня. Это ей Марик передал книги для меня, те, что я просил. Чего он, дурень, на ней не женился?

Я промолчал и не признался, кто я ей такой. Молодец мама. А я и не знал.

— А это моя жена покойная, Лариса Георгиевна. Она в семидесятом умерла. Как она с Марком носилась... Как мать родная. А он даже на похороны не приехал, — старик вздохнул и вдруг сердито, в не свойственной ему манере, обронил: — Говнюк!

Теперь мне стало ясно, почему у него на двери в комнате висит старый женский халат. Еще днем, когда старик проходил мимо, я заметил, как он остановился и рассеянно погладил его рукой. Нет, это не фетишизм. Это называется иначе. Мне его жалко стало. Приятный старик.

На следующее утро я уже трясся в электричке.

9.

Приехав из деревни, я уединился на Сашиной даче и решил для начала завести дневник. Пусть мой эксперимент будет за протоколирован. Чтобы потом ни одна морда не сказала мне (в случае успеха), что у меня все получилось случайно. У меня месяц впереди. За этот срок я обязан превратиться в старика, душой и телом, "чтоб мать родная не узнала", как это он ляпнул тогда, на пробах. И дело тут не в Марке. Не стоило бы тратить столько времени и сил, чтобы доказать ему, что он — сноб со "звездной болезнью" и позер. Есть еще Бранцотти, которого я уважаю, хотя бы из-за его фильмов. Но самое главное — узнать самому, на что я способен, чего я стою в этой жизни. (Кстати, я ненавижу это расхожее выражение. Что значит "в этой жизни"? А как насчет "той"? Можно подумать, у меня их миллион. Если допустить переселение душ и т. д. — все равно, самость ограничена опытом одной жизни, хоть ты тресни. Даже если я и был когда-то Чарли Чаплиным, сейчас мне от этого ничуть не легче.)

Этот мой дневник должен стать формулой, "эликсиром старости". Все, что я до сих пор видел и чувствовал, должно сработать: в конце месяца из этой комнаты выйдет настоящий старик. Он будет выглядеть дряхло, он будет рассуждать по-стариковски. Он будет весь пропитан запахом ста-

рости. Конечно, для искусства это не нужно. Этакий протокольный голый натурализм. И не искусство это вовсе. Но ведь "актер не должен думать, он должен играть" — любимая присказка Марка. Или: "У актера нет своей воли. Это инструмент другой воли, как ангел у Господа", — подразумевалось, что режиссер, а именно он, Марчелло — Господь Бог. Но кто сможет выполнять только чужую волю, так, чтобы это смотрелось с блеском? Марк любил сравнивать с архитектором и каменщиком. Но это чистая демагогия, потому что произведение актера — это его образ действия. Здесь архитектор говорит не "построй храм", а "изобрази из себя храм". Разные вещи. Актер — он и строитель, он и материал. Надо знать и себя, и то, что ты намерен выстроить. Так неужели Марк знает меня лучше, чем я сам? Или он побывал в шкуре короля Лира? Ерунда. Его задача — свести к общему знаменателю работу всех, от дяди Вани до "Кушать подано". Но будь он трижды гением, он не вложит каждому дубликат своих мозгов. От этого я, слава Богу, свободен. "Автономия актера".

Ну, хорошо: есть "метод физических действий". Отелло в ярости — и душит себе Дездемону. На здоровье. Джульетта хочет замуж, аж пищит, — плачется кормилице. Кто-то у Стриндберга мнет в руках платочек, кто-то у Шекспира носится с черепком. От самых примитивных до сложнейших чувств — все выражается действиями. Вроде бы ясно. Но Марк имел наглость заявить, что ему наплевать, о чем думает актер: о бабах, о зарплате или о том, как сыграли "Спартак" и "Динамо". Лишь бы он поверил, что перед ним — Гамлет. Опять демагогия. Тот же принц датский произносит: "...любил Офелию, как сорок тысяч братьев... / Что делал ты? Рвал платье, дрался, голодал / Пил уксус, крокодилов ел? / Все это — действия, а их легко сыграть".

Так что, далеко не все равно, о чем думать. Если ты Ромео — думай себе о бабе, пожалуйста, но о своей, любимой. Если ты думаешь о зарплате — ты в роли Скупого рыцаря, а если ты сжимаешь кулаки в ожидании гола, чем ты — не "Игрок"? Думать надо в любом случае о чем-то своем. Если перестать думать (а совсем перестать нельзя), в голову полезет всякий мусор, и это неизбежно приведет к фальши.

Да, я — король Лир. Все, что он делает и говорит, — расписано, тут и думать нечего. Моя задача — узнать, почему он говорит и действует именно так. Вот когда я думаю, что бы я сделал на его месте. А если это не похоже на мой образ действия, я забью себе голову его предрассудками. Но при этом никто мне не распишет, как мне смотреть, вздрагивать и дышать. Это как любовь: можно очень достоверно сделать африканскую

страсть. И бабы на это ведутся. Некоторые — сознательно принимая правила игры (они — не в счет). Ну, ладно, еще одна в коллекции. Радости — никакой. Но стоит сказать себе: "Я ее люблю" — тут тебе и гроб с музыкой. Уже, значит, влип. И она, зараза, это тоже моментально чувствует, даже если ты ничего специально не изображаешь.

Кстати, первый признак того, что ты влип — это когда ты пытаешься это скрыть. Азбука, так ведь?

**АКТЕРСТВО НЕ НУЖДАЕТСЯ В ОБМАНЕ,
ЭТО ОБМАН НУЖДАЕТСЯ В АКТЕРСТВЕ.**

И неважно, что ты делаешь, хоть бы ты абсурдные вещи делал достоверно. Потому что если ты даже правду преподносишь с заведомо фальшивой нотой, всегда найдется умник, который скажет: "Не, Абрам, не крути. Ты таки да едешь в Одессу". Где ж тогда разница между игрой и не игрой? Как говорят в американских фильмах: "Свяжитесь с моим психоаналитиком". Этак, пожалуй, можно и доиграться. Ну, уж нет. Мы средство найдем.

Я достаю с полки листанный-перелистанный засаленный "Playboy" и нахожу самую крутую, на мой вкус, телку. В очень пикантной позе. Ага! Тут даже написано: Джулия. Юлечка, значит. Очень приятно. Вырезаю ее ножницами из журнала и вклеиваю в самый конец чистой пока еще тетради. Это мой якорь. Пока, Юлечка! Она будет ждать меня в конце приключения. Мы встретимся с ней на последней странице.

10.

Я сажусь у зеркала и начинаю корчить рожи. Жуткие. Смешные. Нет, не то, слишком зеленый еще. Рядом лежит фото Николай Ивановича, которое я подло выкрал из семейного альбома. Я его обязательно верну, чтоб я сдох. На фото — ему до семидесяти, они сидят на скамеечке с каким-то мужчиной. Более поздних фотографий мне не попало. Да и надо ли? Марик не видел его куда дальше. Мне нужен типаж, хотя бы отдаленное сходство. Но у него нос мясистый и редкие брови. Нижняя челюсть тонкая, хрупкая. Рот ниточкой, губ не видно. Уши большие и волосатые. Ничего этого у меня нет. Все наоборот. Посмотрим, что можно сделать. Речь пока идет не об актерской игре, а всего лишь о совершенной, мастерской симуляции. Я создаю себе мини-театр, где я — гример, костюмер, бутафор, постановщик движения и речи, исполнитель. Это первая и наиболее легкая часть, так как все это касается внешних проявлений.

Когда-то я читал роман Кобо Абэ "Чужое лицо" и, надо сказать, мне

это мало помогло. Во-первых, у меня нет маски, не располагаю я такими мощностями. Во-вторых, никакая маска не даст мимики в полном объеме. Одна только мысль запала оттуда: маска подчиняет себе человека и переделывает его на свой лад. Не уверен, может быть, отчасти. Хотя — Бог его знает.

Да, интересный у меня выходит отпуск за свой счет!

Пришлось, правда, продать новенький японскенький двухкассетник (и фиг с ним). На карту поставлена карьера. На жратву должно хватить, даже останется. Кое-какими материалами я запасаю. Смотри, что у нас есть: клей, накладная борода, усы, грим театральный (его сразу — в унитаз) — зачем я его только брал? Перекись в таблетках, анилиновые краски, коллодий, химикатов куча, очки "+4" (я в них ни черта не вижу). Тут у меня сверток с одеждой. Тросточка. Ну, что, Витюша, решайся! Труден первый шаг. А! Была не была!

Растворяю таблетки и вымазываю себе башку и брови этой шипящей гадостью. Через некоторое время голова начинает чесаться. Смываю все и сушу волосы. Во, блин! В зеркало страшно смотреть: седой! Белый, даже чересчур. Бороду и накладные усы тоже покрасил, но пока мне что-то не нравится. Слишком похоже на Деда Мороза. Что-то не то. Пока я возился, время пролетело незаметно. Чего это я так устал? Ну, конечно: полтретьего ночи. Пора баю-бай.

11.

Мне снится незнакомая комната. Напоминает немного нашу старую квартиру, где мы жили еще с мамой и папой. Но без окон. Тусклый свет. На большом кожаном диване лежит молодая женщина, завернутая в простыню. Она повернута ко мне спиной, и я вижу только затылок, ее роскошные волосы и голую пятку. Она не спит, а притворяется, я это чувствую. Теперь я знаю, что это моя Юля. Она кокетливо шевелит пальцами ног и изгибается, так, что пружины дивана щелкают с многократным эхом. Я раздеваюсь и сажусь рядом с ней, но вдруг вспоминаю, что я все еще в гриме. Я отклеиваю бороду, но тут из соседней комнаты выходит Николай Иванович с палочкой и сердито смотрит на меня через очки: "Ай-яй-яй, молодой человек!" — он качает головой, и я замечаю, что он бос. Юлечка ловит меня за руку, держит нежно и страстно, я сижу рядом голый и думаю, что бы ему такое сказать, чтобы он поскорей ушел, что это никак не его, а мое личное дело. Но я молчу. Тут она поворачивается ко мне, горячо дышит в лицо, и я замечаю, что это вовсе не Юля, а Галя. Ни-

колай Иванович хочет еще что-то сказать, но у него трясутся руки и он роняет тросточку.

12.

Утром ходил на станцию. Там есть парикмахерская. Я попросил меня постричь: чуб оставить, а сзади — под машинку. Старый еврей долго смотрел на меня, и я перехватил его взгляд:

— Вы так думаете? — спрашиваю.

— М...да! Рановато, конечно.

— Про Чернобыль слышали?

— М-м-м...

Не знаю, что такое "М-м-м", но, скорей всего, это означает наследственный сифилис или алкоголизм. Пока он меня стриг, я все время его то-ропил, мол, успеть бы на электричку. Получилось отлично: косо, криво, сзади ступеньки. То, что надо стрижечка. От станции до Сашиной дачи топать с километр. Народу сейчас негусто, все жарятся на пляже. Я выбрал тропинку побезлюдней и задал себе упражнение: пусть эта дорога — моя жизнь. Вот я сейчас только родился. Так, пошел! Вот у того столба — я пошел в школу. Хлоп, хлоп, хлоп! — школу я отпрыгал на одной ноге. Интересно, что подумал бы притаившийся в кустах психиатр? Так. За тем вот поворотом — это я сегодняшний. Я сбавил шаг. Под кустом рябины мне исполнилось сорок пять, и дал о себе знать радикулит. Мимо колодца я проходил уже шестидесятилетним и уставшим. Последний отрезок я плелся, ссутуленный, шаркая с одышкой, останавливаясь, как при стенокардии. Вот уже калитка. Конец пути. Стой, дурень, там дальше — твоя смерть! Но бес любопытства подтолкнул. Я зашел туда и "умер".

Потом много раз я повторял этот этюд, но всегда почему-то перешагивал этот последний рубеж, хотя внутренний голос скулил-вопил и сопротивлялся. Обратил внимание на свои руки: гнусная манера грызть ногти! С этим надо бороться. Не видел еще ни одного старика, грызущего ногти. Заодно и мне польза будет.

13.

Старики упрямые. Старики ворчливы. Стариковский консерватизм. Почему? Есть целая наука — геронтология. Однако я далеко не ученый. Что-то где-то слышал. Никогда меня это всерьез не интересовало. Это каждый успеет. Все там будем. "Старый мудрец" — как символ коллективного бессознательного у Юнга. (Мудрость как следствие старости.)

С другой стороны — "старпер", "старый осел молодого везет", "старую собаку не выучишь новым фокусам". Но: "старый конь борозды не портит", "старый друг..." — это вообще не из той оперы. Главное — "старость — не радость". Вот и разберись тут! Предположим, я старик. Главное, повторять себе: "Я стар. Я очень стар. Я — суперстар". Вот я прожил целую жизнь. И если я что-то искал, о чем-то думал столько времени, меня уже не занимает качественный состав моего опыта. Может быть, я всю жизнь, как последний тупица, повторял одни и те же ошибки. Но у многих ли хватит мужества признать, что жизнь прожита впустую, перед лицом самой смерти? Когда уже поздно что-либо менять?

Распространенное заблуждение, что старики спокойней, мудрее, добрее и т. д. Водка ведь тоже далеко не всех веселит, хотя и говорится: "на-веселе". Усугубляется то, что уже есть. Конечно, каждый старик умнее (самого себя в молодости). Я тоже буду знать больше, потом. Склероз, ма-разм сведут на нет весь интеллектуальный прогресс. Есть желчные старики, которые ненавидят молодость именно за то, что она их привлекает, но уже, увы, — недоступна. Развенчиваем еще один миф "о доброте и спокойствии". Кстати, за спокойствие мы часто принимаем клиническую картину апатии. Есть старики, которые ненавидят детей: "Если жизнь настолько пуста и безнадежна, то к чему терпеть эти дурацкие вопли и прыжки? Во имя чего? Пополнять ряды, плодить неудачников?". Это уже не от возраста зависит. Детей одинаковых тоже нет. Старик чувствует, что к нему начинают относиться снисходительно, "с поправкой на возраст", и начинает входить в роль. Тогда:

- 1) он ворчит: "Я еще не старик! Мы еще повоюем!", а потом
- 2) он расплывается в приторной улыбке: "Вот какой я милый и славный, бесполезный, но зато очень добрый и безобидный овощ".

Это все — неблагополучные старики, те, которым страшно оглянуться назад. А как же спокойные, степенные? Эти — назидательный пример юношеству. У них мания величия. Они в своих устных и письменных мемуарах пытаются составить себе эпитафию, свой собственный некролог, опасаясь, чтобы кто-нибудь не сделал этого за них. Значит, и у этих не все так благополучно, только видимость одна. Эти претендуют на знание истины в последней инстанции. Как же так: жизнь прожить и так ни к чему не прийти? Они истину и подгоняют под свой куценький опыт. Полученный суррогат они выдают с непререкаемой интонацией: "С годами вы поймете...".

Выходит, нет на свете благополучных стариков? Смотрю на свою

вполне благополучную физиономию в зеркале, и она начинает меня раздражать. Дурилка картонная, а не старик! Кого ты купишь на свои седины? У тебя еще сорок, как минимум, лет в запасе. и не устал ты от жизни, аж никак. Смотрю на свои руки: ногти стали чуть отрастать, но все равно, руки молодые, гладкие. А у стариков они узловатые, мосластые, жилистые и малоподвижные. Неужели все это — пустая затея?

Смотрю на свои кисти, а они смотрят на меня. Ищу им нужное выражение. Складываю пальцы вместе, а большой — в сторону, как гитарист, готовящийся взять аккорд. Теперь, в таком положении, немного сгибаю фаланги. Ничего, уже лучше: "Руки-крюки". Вымазываю себе тыльные части слабым раствором клея и даю высохнуть. Замечательно: кожу растягивало, мелкая сеточка морщин, только блестит подозрительно — надо больше разбавлять водой. Потом вдруг вспоминаю, как нас еще студентами водили сдавать кровь, как на донорском пункте стягивали руку жгутом. Пробуем. Превосходно: все вены повылазили наружу, рука стала безобразной, *quod erat demonstrandum*. Добавим к этому легкий тремор: если направление от локтя к запястью взять за ось и качать вокруг нее с небольшой амплитудой, получается отменное старческое дрожание рук. Надо запомнить.

14.

Уже больше недели я торчу на этой даче, а толку все еще мало. Походка у меня несколько изменилась, но это еще надо сознательно контролировать, автоматизма еще нет. "Обнашиваю" дедушкин френч и очки. У костюма такой вид, будто я в нем сплю. А выглядит он так, потому что это так и есть. Врастаю в личину. Один раз, правда, не удержался: джинсы, футболка, никакого грима — пошел на курортную дискотеку. Не то чтобы потанцевать. Танцевать как раз и не хотелось, а просто так — потолкаться среди людей. Мои обесцвеченные волосы никого не волновали. Девки скачут, трясут всем на свете, ногами дрыгают — дуры счастливые. А эти темпераментные юноши! Какие все крутые! Барбосы зеленые. Единственное, что я себе позволил, — пропустил грамм двести с каким-то низким хмырем. Он всю пялился на девчонок. А мне что-то и не веселилось. Может, и правда, начинаю стареть?

Почему под самую завязку — разочарование? Сперва меня любит мама, мои родные, знакомые. За то, что я такой умный и хороший. Потом меня любят друзья и бабы — кто за что. Любит жена, сначала просто как баба, а потом уже по привычке. Дети любят — я с ними вожусь, я им нужен,

от меня еще что-то зависит. А когда наступает момент, что уже не зависит, — гуляй, Вася. Почва выбита из-под ног. И у меня есть два пути:

1) менторский — "Я всю жизнь отдал людям. Берите с меня пример. Честь мне и хвала (а желательно, и вечная память)". Или:

2) экстрапунитивный — "Я всю жизнь старался, думал, что это кому-то нужно, но люди гораздо хуже и не оценили всего этого".

Все старики балдеют на своей эпохе. Вы видели хоть одного, кто жаловался бы на "плохую молодость"? Да, времена были тяжелые, непростые, но какие-то светлые (война, голод, разруха, репрессии, эпидемии). Интересно, что Николай Иванович не укладывался в эту схему. Похоже, он знал свое место, вовремя понял и смирился. И при этом получал какие-то радости жизни. Конечно, его розарий, его краеведческий музей — хобби, игры для забивания мозгов на пенсии. Но далеко не всегда он выглядел жалким и беспомощным. Иногда, когда он стрелял глазами из-под своих очень "плюсовых" очков, мне казалось, что это — он настоящий, а хихикающий божий одуванчик — это так, дань общественным ожиданиям. Кстати, что такое пенсия? Ведь это — оплачиваемое государством ожидание своей смерти. И гуманное государство, определяя ее размеры, стремится к тому, чтобы мучительное ожидание не слишком затягивалось. Почему я Николай Ивановича воспринимал не только как старика? Да, наверное, потому, что он не только старик.

Иногда же кажется, что старики повышенно участливы. Это и так, и не так. Просто, когда своя жизнь не дает достаточно материала для переживаний, они чисто вампирически делают объектом переживаний жизнь чужую. Но это не исключительно стариковская черта. Мой старик, разводил ли он розы, собирал ли материалы для никому не нужного музея — когда он играл в свои игры, он был востребован и не страдал от недостатка признания и сочувствия. Что-то могло еще заинтересовать его просто само по себе. Так что, Витя, твои планы "вывести формулу старости" — ерунда, мечта метафизика.

Кожа морщится одинаково, но что делать с мозгами? Ну, сделаю я совершенный грим, походку, дикцию. Но это будет, в лучшем случае, "Я в старости". И то, не уверен: мне не хватает главного мотива, главного конфликта: "Жизнь ушла".

Итак, я потерял массу времени на то, чтобы рационально оседлать свою роль, когда мне надо было всего лишь ужаснуться от того, что неизбежный конец — рядом. Очень ли я обману себя и других? Ну, так не пару лет, а пару десятков — какая разница? Я ведь и так ничего не успел —

только пил, жрал, развлекался. Ведь так и есть. И все мои трепыхания ни к чему не приведут. Разве это не ужас?

Настроение испортилось окончательно. Хорошо, Витя, продолжай в том же духе.

15.

Опять видел дурацкий сон. Я где-то в больнице, в операционной, на столе. Люди в белых халатах. Рука перевязана жгутом. Сестра делает мне инъекцию внутривенно. Доктор спрашивает ее: "Вы сделали два кубика анальгина?". "Анальгина? — в ужасе переспрашивает она. — Разве вы сказали анальгина?" Они суетятся и переживают, кто за это будет отвечать, потому что "он же сейчас..." "Он" — это я, значит. И я сейчас... Прямо сейчас! Как же мне собраться? Мне холодно и страшно. Сейчас я прыгну куда-то. Там темно. Что я там буду делать? Я же ничего не знаю. Я так привык здесь! Зачем они это сделали? Я их всех обману. Сейчас станет темно, но это я просто усну. Я даже...

Встал я подавленным. Ничего себе, сон! А я — ничего, молодцом. Даже испугаться не успел. А ведь не знал, что мне все это только снится. Как я их всех взул — "я сейчас просто усну!". Это не они мне, а я сам себе обезболит процесс. Безо всякого наркоза. Медсестра, сучка рассеянная. Врачи, называется. Стоп! На кого я злюсь? Это же мне приснилось!

Вспомнилась одна хрестоматийная байка: в редакцию одного издательства пришел мужик. В лаптях, с рукописью. Дело было при царе-батюшке. Редактор прочитал, заинтересовался и принял у себя мужика. Оказалось, это был Лев Толстой. Но ему надо было, чтобы рассказ приняли не от графа Льва Николаевича, а от простого русского крестьянина. Здорово это напоминает и мою затею!

Пушинский и Бранцотти беседуют со мной, то да се. Надо обязательно попросить у итальянца автограф — для доказательства. А потом я "молодой-зеленый" прихожу на студию и говорю: "Ну что, берете меня на роль?". Они, естественно: "Нет, вы еще слишком молоды..." А я тогда с торжествующим видом вытаскиваю автограф и спрашиваю... Целый день вожусь у зеркала со своим лицом. Хорошая вещь — коллодий. Морщин — хоть отбавляй. Неужели я когда-то таким стану? Немножко тертого графита на веках не помешает. Бороду и усы — распустил, к черту, по волоску, иначе вида — никакого. Kleil потом часа два кряду. Из остатков — удлинил себе брови и кое-что налепил в уши. Недельную щетину — à la George Michael — тоже обесцветил. Вышла характерная пенсионер-

ская "небритость". Поработал с шеей. В нос затолкал ватные тампоны, он сразу преобразился картошкой. Из пластмассовой линейки на свечке согнул дужку — за нижнюю губу. Она оттягивает вниз щеки. Брыла, как у бульдога. А тарактит во рту, как вставная челюсть. Видос у меня, конечно!.. Пожалуй, пора перейти к полевым испытаниям!

16.

Под вечер я решил на вылазку, в полной экипировке. Больше всего я боялся, что какая-то досадная мелочь может меня выдать. ("Товарищ лейтенант, у вас ус отклеился!") И меня тогда в лучшем случае поднимут на смех, а в худшем —... В театре я много раз бывал дедом: Старик Хоттабыч, Папа Карло, мало ли. Но там я не боялся разоблачения — ведь зрители идут на этот обман добровольно.

Но и не сидеть же мне вечно на этой даче! Заветной мечтой крысы Чучундры из "Рикки-Тикки" было — когда-нибудь отважиться и выползти на середину комнаты. Нет, лучше оскандалиться сейчас, чем потом. Надеваю очки, и все мутнеет в глазах. Отражения своего не вижу — так, смутные очертания. Однако я знаю, что мои глаза сейчас — огромные, на все стекло, и из-за этого у лица сердитое выражение. Проверив все, от шляпы до сандалий, нахожу, что все в порядке. Накладное брюшко хорошо держится под френчем. Какое мучение — ходить по жаре в носках! Но что поделаешь — старики не носят обувь на босу ногу, а мои стопы без признаков подагры меня бы выдали.

Я достал носовой платок и пропитал его корвалолом. Второй платочек я сбрызнул змеиным ядом (это растирание такое) и теперь излучал вокруг себя такой аптекарский аромат, что это не могло не надавить на подсознание. Любое сомнение будет гаситься этим запахом. Ведь мы настолько привыкли доверять своим ушам и глазам, что усомниться можем именно в том, что видим и слышим, а не в том, что чуем носом. Парадокс? Но говорят же: "Я носом чую...", когда речь идет об интуиции. Вот и обычное наше чутье (обоняние, то бишь): мы его не осознаем, не контролируем, а ощущение, полученное таким образом, принимаем за интуицию.

Другое дело — собаки. Как-то раз я приходил к одному захворавшему родственнику в больницу. Это было осенью вечером, тогда еще рано темно. Ища выход, я долго бродил между корпусами, пока не оказался на пустынной темной аллее. Наконец я увидел искомый пролом в стене и устремился туда. В голову ненавязчиво вползла мысль: "А тоскливо, на-

верное, было бы умереть в больнице, хотя, казалось бы, здесь созданы для этого все условия...". С чего бы это вдруг?

Утром следующего дня я снова отправился туда с целым пакетом домашней жратвы, минералкой и т. д., что носят обычно больным. Как раз тогда у родственника не было ничего угрожающего жизни, чтобы навести меня на такие мрачные мысли. Чтоб не делать крюк, я решил найти вчерашний пролом — так было ближе, чем через центральный вход. Я нашел это место. Когда влез туда, то при свете дня увидел одноэтажный корпус с табличкой: "Патолого-анатомический отдел" и ниже: "Выдача трупов родственникам с 11 до 13". Я вспомнил о своей вчерашней ассоциации на этом самом месте. Но ведь таблички я тогда точно не видел. А вы говорите: "Чутье". Вопросы есть?

17.

Было еще светло, но духота стала спадать. Я прошелся к "пятаку" так дачники называли место недалеко от станции, где были сосредоточены все здешние ценности культуры: дискотека, шашлычная, магазин. В беседке по вечерам собирались пенсионеры — любители шахмат. Иногда разворачивались доминошные баталии, споры о политике. Словом, форум. Я шел, шаркая и с одышкой. Людей в беседке было совсем немного: двое доигрывали партию, да еще трое следили за игрой и давали ценные советы. Я в шахматах понимаю, как свинья в бананах, встречать не стал. Одышка моя почти прошла. (Все-таки премьера, как-никак!) Все пятеро дедов подняли головы на меня, но, не увидев ничего интересного, отвернулись и продолжали. Неужели они приняли меня за "своего"?

— Добрый вечер, — просипел я им.

Они сосредоточенно кивнули головами, не отрываясь от шахмат. ("Ур-р-р-р-р-а!!!" — загремело в голове.) От волнения я трясущимися руками вытащил из кармана "Приму", размял сигарету и сунул ее в мундштук. Похлопав себя по бокам, я обнаружил, что спички оставил дома (когда укладывал платочек). И тут — о чудо! Один из дедов, что сидел поближе, поднялся, чиркнул спичкой и дал мне огня. Язычок пламени плясал и двоился в моих диоптриях. Но я удачно прикурил и мелко затряс головой в знак благодарности. Честное слово, я просто боялся, что голос меня подведет. Ай да сукин сын!

Чтобы издать хоть какой-нибудь звук, я затянулся, выпустил дым и разразился (это мой коронный номер) изысканнейшим туберкулезным кашлем, со свистом, хрипом и мокротами. Поверх очков я заметил, как

они глянули на меня: примерно, как мои конкуренты на кинопробах, но какой это был теперь бальзам на душу! Мне хотелось петь. Задерживаться я не стал. Помявшись с минуту, я зачем-то достал из кармана газету и, гнусая под нос "Нас утро встречает прохладой", пошел к станции.

Если б я был уверен, что среди этих пенсионеров нет сердечников, я б, наверное, прошелся колесом у них на глазах. Ладно! Не нужен мне дешевый триумф. Единственное, что я себе позволил, — сменил мотивчик на "I Love The De-ad" Элиса Купера.

18.

Я уселся на скамеечку, неподалеку от станции. Приятно пахло теплым гравием. Такой специфический железнодорожный запах, с примесью мазута. Солнце давно село, и горизонт пылал алыми и зелеными полосами. Заговорили сверчки — стражи ночи. (На самом деле это — цикады, но мы уже так привыкли говорить, не все ли равно?) Где-то далеко стрекотала удаляющаяся электричка. К этому добавился еще один звук, словно рядом кто-то энергично и часто сморкался. Я покосился вверх очков и обнаружил, что я на скамейке не один: то была женщина лет тридцати пяти, с такой фигурой, что я сразу как-то внутренне помолодел. Она безудержно рыдала, но не в голос, а глухими всхлипами, с икотой, так, что вся энергия передавалась мне вибрацией скамейки. Это все мои очки! По бокам — вижу, перед собой — полный туман. Как я ее проглядел?

— Но почему? Почему? — вопрошала она, обращаясь в пространство, — Почему они все такие скоты?

Я понял, что это приглашение к разговору, и, поскольку функция жилетки мне была давно и хорошо знакома, участливо спросил:

— Кто скоты? Те, кто вас обидел? Что вы, душенька, так убиваетесь?

(Хорошо сказал. Сипло, бесцветно. "Душенька" — тоже в масть.) Она достала сигарету и зажигалку. Я, пользуясь случаем, тоже достал "Приму" и мундштук. Прикуривая у нее, чуть не упал в ее декольте (и не ушибся бы, если что), но ей было решительно ни до чего.

— Кто, кто. Да мужики, — родила она, в конце концов. Меня она не стеснялась, и к мужикам, видимо, уже не причисляла.

— Вы, что, поссорились с мужем?

— Да каким там мужем! Хватит с меня моего первого. Триста лет он мне в гробу снился. Покажите мне дуру, кто сейчас во второй раз выходит? Так, сошлись с одним. И, вроде, неглупый, и с машиной, и разводной. Думала: не надо мне никакой росписи, не в штампе дело, будем так жить...

— И что же, гуляет?

— Нет. В том-то и дело, что нет. Но как деньги заведутся — он пить. Квасит и квасит. Я уж и за компанию с ним пробовала, но это ж можно самой скорее спиться совсем. Я его предупреждала, что от своего уже достаточно натерпелась, больше не хочу.

— А он что?

— А ему — как с гуся вода. Думал, я покричу и успокоюсь. Стоит, лыбится, а от него перегаром прет. Я ему вещички собрала — и на кислород. А он меня еще...

— А что, раньше он не пил? — спрашиваю.

— Пил. И я с ним тоже. Но вначале это как-то весело было, а тут же — черте что. Теперь все. Я его выставила.

— И не вернется?

— Не знаю. Не хочу больше ничего. Вот вы пожилой человек, опытный. Ну скажите мне, что, я — дура какая-то или уродина? Молодая, симпатичная, без закидонов. Или поговорить со мной не о чем? Что ему еще надо было?

Ну, милая, насчет "молодой" — это понятие растяжимое. Славная — да. Насчет "дуры" — есть определенные сомнения. Судить не берусь. От самой тоже не духами несет, но это, видимо, от расстройства чувств.

— Я же всей душой, — опять зарядила она, растрavляясь. — У меня сердце доброе. Но почему все садятся на голову? Я же ничего не требую. Просто иногда хочется тепла, какого-то внимания... А он придет "готовый", и от него... толку, как от покойника... Почему, почему?

Ее опять сотрясли спазмы. Она уткнулась мне в плечо и беззвучно икала. Я отечески обнял ее своей мягкой, безвольной и безжизненной рукой:

— Ну, что вы, что вы, не надо. Это еще все образуется. Ну, что ты так, за... (Стоп! Никаких "зайцев" и "котиков"! Я же — старик!) Что ты, голубушка. Зачем же так? Все будет хорошо, вот увидишь. (Ни черта хорошего не будет.)

— Ага, вам легко говорить. Вы свое пожилы, а я теперь одна. А я женщина, женщина, в конце концов! Я не бревно! — и она снова зарыдала на моем плече.

Боже! Почему я в гриме? Летний вечер у моря. Пустая дача. Дама нуждается в утешении. Что в подобных случаях делал Отец Сергей? ГДЕ МОЙ ТОПОР?

Под каким предлогом я ушел, не помню. Запомнил только, что ее звали Вера, а в моем кармане оказалась ее зажигалка.

Ночью меня преследовали эротические сны. Вот я снимаю парик (седина во сне трансформировалась в парик) и иду по пустынному пляжу. Встречаю Веру и делаю вид, что вижу ее впервые. Мы знакомимся, болтаем о чем-то, и я приглашаю ее к себе. Мы поднимаемся с пляжа по деревянной лестнице. В комнате она бросается мне на шею и огорошивает меня заявлением, что она — женщина, в конце концов. Ее мокрый купальник куда-то улечучивается, речь перестает быть членораздельной. Мы валимся куда-то... В самый интересный момент она вдруг спрашивает: "А это что такое?" — и показывает на мой костюм, висящий на стуле. Рядом лежат очки, парик и ее очень приметная зажигалка. Она вскакивает и бьет меня по носу, наотмашь: "Ах ты тварь, подонок, дрянь, животное! Я с тобой, как с человеком, а ты из меня дурочку делаешь?!".

Я проснулся, как просыпается вулкан — весь в жару. Но женские вопли не прекращались: "За дурочку меня держишь! — неслось с соседней дачи. — Вот подожди, папа приедет, я ему все расскажу!" Хлопнула дверь и вопли затихли. Слов уже было не разобрать, и для меня навсегда осталось загадкой, что должен был, к своему ужасу, узнать чей-то папа. Господи! Девять часов. Нашли время, когда ругаться! С утра пораньше. Порядочным людям спать не дают!

19.

Сегодняшний день посвящаю "разбору полетов". Выходить не буду. Хватит с меня вчерашних впечатлений. Тоже мне! Гениальный Лоуренс Оливье вошел в роль! Ну, и что я с ней сделал? Профанация. Разыграл парочку старперов для начала, а потом влез в душу горемычной бабенке. Влез, самым подлым образом.

- А кто ее просил со мной откровенничать?
- Как это, кто? Да она бы в жизни не сказала бы такого молодому — одному из этих "скотов".
- А я ее зато утешил.
- Ничего я ее не утешил. Или уже надо было по-другому утешать.
- А кто я ей такой, чтоб с ней носиться?
- А кто ты ей такой, чтоб с ней играть? Или это — колода карт?
- Да, это не колода, не бревно, она так сама сказала.
- Ей не нужны твои советы.
- А я ей ничего не советовал. Ей нужно было поплакаться.
- Так ты просто благородно подставил плечо?
- Подставил, и ей стало легче.

- Или тебе стало легче?
- Мне как раз наоборот.
- Не за то переживаешь.
- А ты у нас больно совестливый?
- Не больно. Отстань.
- Сам отстань.

Самый раз — пить зеленку. Я уже разговариваю "с умным человеком". Я уже говорю со своей тенью! А почему бы не попробовать? Грим все еще на мне.

Попробуем такой этюд: я, Витя, "молодой-зеленый", говорю с Николаем Ивановичем. У зеркала. Я прекрасно знаю свое лицо, и по напряжению мышц, натяжению кожи, "вижу" каждое свое выражение изнутри. Это нормальный профессиональный самоконтроль. Некоторых удивляет, но так любой человек управляет своей мимикой — изнутри. Только не все при этом играют, тогда все происходит естественно. Я же могу изобразить, что захочу. Ничуть не сложнее, чем пианисту играть "вслепую", не глядя на клавиши.

Оставим в покое мой инструмент. Лицо в гриме — это уже совсем другое ощущение. Кожа стянута и мимикой труднее управлять. (Вы не пробовали играть на рояле в перчатках?) Кроме того, мимическая норма образа и моя собственная — различны. Что для него покой, для меня — гримаса. Поправка на это. Попробую вести диалог с Ним. Говорит Он — я смотрю в зеркало, привыкаю, изучаю. Реплики от себя даю с закрытыми глазами — тогда я вижу себя обычным, без грима. А Его — только когда говорит Он. Что ни говори, а результаты — налицо. У меня появилось старческое "жевание" — челюсть ходит туда-сюда. Но очень трудно дается улыбка. Не дежурный смайл, я имею в виду. Как это только люди клюнули на мякину? Деда — из-за плохого зрения, Верочка — от слез. А я сам себе не верю. Пообщался с зеркалом — и теперь еду крышей.

Ну его! Смываю это уродство, потому что уже кожу печет. Хватит на сегодня, а не то можно и правда, прихворнуть. Не исключено, что я даже излишне критично отношусь к сделанному мной. Детям, чтобы спрятаться, достаточно зажмурить глаза. Я сам любил заползать под стол одной головой — под скатертью так темно! А если еще зажмуриться — верняк, не найдет никто. Мама ходит по комнате и "ищет" меня: "А где это наш Витя? Куда это он пропал?". (Чья попка и пара ножек торчат наружу — на этом акцент не ставился.)

Другая крайность в подобных играх — анекдот про наркомана, кото-

рый прятал от милиции наркоту, а спрятав, "репетировал" в лицах: "Спрячу тут — милиция найдет тут. Спрячу под полом — милиция и под полом найдет. Спрячу-ка я на балконе, авось не найдут!". Кончается тем, что он выпадает из собственного окна: "Ну да, а откуда же у меня балкон?".

Может, и я так. Им невдомек, а я терзаюсь. На воре шапка горит. Кое-что по ходу черкаю в дневник. Если б его кто-нибудь прочел, решили бы, что меня надо срочно изолировать. А там все только по делу. Мне-то для "домашнего пользования" развернутые комментарии не нужны. Вспомнил свою первую отроческую депрессию, первый кризис. Мне было лет двенадцать, дело было летом, в детском санатории. Ожидая процедур, сидел в коридоре и читал, от нечего делать, всякие дурацкие стенды — о вреде курения и проч. Меня вдруг поразила статистика: оказывается, сердце человека за всю жизнь отбивает что-то около миллиарда ударов. Ну и что, казалось бы? Так нет же: я тогда с неделю ходил, сидел, и даже лежа считал удары. Вот уже на сто меньше, на тысячу, а завтра будет на сто тысяч меньше. Солнце палило, все играли, ржали и бегали, а мне было холодно и тоскливо. Но в итоге я с собой договорился: "Ладно. Миллиард — это в среднем. До него еще надо дожить, а там — посмотрим".

Решение, которое ничего не решало, но как трудно оно далось, и как потом стало легче. Почему вот горцы — такие долгожители? Овечье молоко, покой, чистый воздух? Фигушки. Они просто не знают про миллиард. Кто-то верует (он же — блажен), кто-то занят, ему некогда сидеть и ждать, пока пробьет его час. А кому-то дается спасительная соломинка: оказывается, жизнь еще может просто НАДОЕСТЬ. Мой старик из тех, кто уйдет спокойно, без метаний. Конечно, страшновато, когда гасят свет. Но, с другой стороны, — не такая уж и трагедия. Трагедия — это когда ты сам к этому стремишься.

20.

Перечитывал кое-что из дневника. Жуть! Единственное, чего я не успел написать — свежую мысль о том, что "жизнь — штука сложная". Не, Витенька, не расслабляйся, рано. И что толку думать, как ты будешь отдавать концы? Думаешь — значит, уже отдаешь. Бенджамен Франклин, между прочим, говорил, что лучше один день — сегодня, чем два — завтра. Даром, что ли, его портрет на стобаксовой?

Оставшиеся дни до моей акции я почти не выходил с дачи. Много читал — в основном, всякую бульварщину, что попадалось на полках. Влазить в какие-нибудь приключения не хотелось. Не тянуло и на пляж. Я

мог очень спокойно сидеть с папироской на деревянном крыльце и радоваться жизни. Многое как-то само собой отпало. Женщины? Никакое влечение не заставит терпеть их глупость и пакостность. Неужели что-то поломалось внутри?

Нет, я-то еще не старик. Я — действую, я — желаю. Разве это апатия? А чего я желаю? Стать стариком. Господи, опять бред! Нет, Хайд еще не вышел из узды! Сегодня юбилей у Марка. День моего триумфа или... нет, даже думать не хочу. Сегодня я уезжаю с Сашиной дачи. А я привык. Тут было по-всякому. Я тут, можно сказать, "жизнь прожил".

Собрал вещи, привел жилье в относительный порядок, перекурил напоследок и вышел оттуда, заперев дверь. Было такое чувство, что я с кем-то расстался. С утра еще возился со своей экипировкой. Все проверил и выполз из логова только к трем. Дневник я оставил на столе, ведь я еще сюда обязательно вернусь, и мы с Саней, даст Бог, отметим некоторые события. Интересно, матушка уже всем трубки пообрывала по поводу моих "гастролей"?

В город ехал, как чужой. Зато я научился смотреть: вот вижу я ветку дерева и не думаю, отчего она такая, какой породы. Никаких хлорофильных реакций, никаких человеческих профилей в очертаниях, ветка как ветка. Я долго молчал и пропитался этим молчанием. Хорошо иногда и не думать. А когда заткнется этот назойливый глупый внутренний человек со своей геометрией, моралью и всякой пустопорожней болтовней, все предметы вокруг сразу начинают громко кричать. Оказывается, можно ими и не управлять, а только смотреть на них. Вот, не властен я над этим деревом, даже если я спилю его и выстрогаю из него гроб.

На станции я видел нищего с табличкой: "Слепой". Забавно было бы увидеть дерево с табличкой: "Cogito, ergo sum".

Прибыв на вокзал, я позвонил Саше и, к своему удивлению, застал его дома. Мне не хотелось длинных расспросов, и мы договорились, что я оставлю ключи у соседки. Он удивился, зачем такая конспирация, но я что-то промышчал и повесил трубку. В девять вечера я с замиранием сердца подходил к Марковой даче. Я, уставший, старый больной человек, который с утра съел только булочку с кефиром на вокзале.

Маркова "вилла" сияла и гремела. Еще только подходя к ограде, я слышал очень приличный джаз и заметил мелькание пестрых фигурок. На травке перед домом столы сдвинуты покоем. "Тихая домашняя обстановка" ограничивалась примерно тридцатью гостями. Марик в своем ре-

пертуаре. Я поискал глазами и увидел итальянцев. Он таки затащил их сюда! Слава Богу. Можно действовать.

Вперед, актер!

21.

Все было поставлено на широкую ногу: лужайку освещали кварцевые софиты, по подстриженной травке сновали два-три официанта, специально выписанные из какого-то дорогого кабака. За столом стоял веселый гомон. Моего появления вначале никто и не заметил. Это хорошо. Они уже под шафе, тепленькие. Марк сидел рядом с Энрико. Все в нем сияло: редкий камень в перстне, редкой красоты галстук, редкая шевелюра. Я подошел к нему со спины и произнес хорошо отрепетированную фразу:

— А! Марочка-помарочка! Совсем забыл старика? А я вот, взял — и приехал! Ну, поздравляю, дорогой!

Марк обернулся и замер, как человек, проснувшийся в больнице, которому хирург только что сообщил, что в результате операции он теперь будет петь сопрано. Эффект был потрясающий! Все гости смолкли и косились то на него, то на меня. Наконец у него прорезалась речь:

— Боже мой! Дядя Коля! Сколько лет! И надо же, в день рождения!
— Да, Марик, я все помню, дорогой. А ты такой... солидный!

Мы обнялись, и Марк, не отпуская меня, повернулся к гостям:

— Это мой родной дядя. Николай Иванович. Он специально приехал.
— Боже, сколько лет!.. Садись, пожалуйста, сюда, — он показал мне место за столом, и гости снова загалдели.

Жена Марика посмотрела на меня, как аллегория любознательности. Он наклонился к ней и шепнул: "Вот, черти принесли! Это мамин брат, который в деревне. Займи его чем-нибудь". (Ничто не укрылось от моего слуха.) Марк был настолько любезен, что выделил мне (от сердца оторвал) свою любовницу, Вику. Чтобы она меня заняла, и чтоб я, не дай Бог, не занял драгоценного внимания Бранцотти, которого он как раз охмурял. Я видел, как племянничек перемигнулся с этой рыжей красоткой, мол, потерпи, дорогая, после сочтемся. Вика тут же взяла меня в оборот, и, хотя не знала, о чем со мной можно говорить, тем не менее, затараторила, как сорока. Ей бы позировать самому Модильяни. Длинноносея, вся в веснушках, как это бывает у всех рыжих, она была со вкусом одета (или раздета). Очень эффектная и сексуальная. Но я быстро смекнул, что роль аутсайдера мне не подходит, и поломал эту ситуацию, огорошив ее одним вопросом, доказывающим, что я далеко еще не маразматик. Она

поняла, что о птичках и о погоде — мне надоело, и повернулась к Марку с неммым вопросом.

Тогда я спросил его.

— Зачем мне понадобилось снимать психологический триллер? — начал мяться Марк.

Тут его жена призвала всех на перекур, дабы убрать посуду и накрывать десерт. Мы вышли из-за стола, и все стало на места: люди обычно кучкуются по трое-пятеро, и я оказался с теми, кто меня интересовал. Марк представил меня итальянцу, и я видел, как он волнуется, чтобы я не сморозил какую-то глупость, чтоб ему потом краснеть. Я сделал вид, что удивлен:

— Бранцотти? Так это ваш фильм — "Самолет летит"? Марк, это правда, его фильм? Потрясающе! Сеньор говорит по-русски?

"Племянничек" был явно доволен: как это кстати! Старик, из глухой деревни, а туда же — в восторге. Вот оно, всенародное признание! Он будто уже и не жалел о моем неожиданном появлении.

— Да, дядя Коля. Говорит, и даже очень хорошо, — и, обращаясь к гостю: — Дядя Коля — мой первый учитель. Жизни.

— Очень приятно, — заулыбался итальянец. — Но на мой счет — это преувеличение. Я охотней слушаю по-русски, чем говорю.

Мы закурили, и когда я лез в карман за мундштуком, Марк предусмотрительно предложил мне "Мальборо", пока я не задымил их своим противотанковым табаком. Я не без удовольствия затянулся, хотя демонстративно держал сигарету безо всякого почтения, большим и указательным пальцами, как самокрутку на ветру, в поле.

Потом речь зашла о классиках итальянского кино. Я восторгался, брызжа слюной, Бранцотти слушал без ревности, но Марк делал мне страшные глаза. Тогда я очень осторожно ступил на тонкий лед — речь зашла о новом фильме.

Официант принес на подносе бокалы. Мы чокнулись, но я сказал, что мне, гипертонику, пить нельзя, и подошел к столу, чтобы налить себе минералки. Пока никто не видел, я налил полный стакан коньяка и залпом выпил. Потом налил еще и покрасил его "Колой", чтобы были видны пузырьки. Меня немножко отпустило. Я вернулся к обсуждению фильма — треп о возрастной роли, психологизм, муть всякая. Больше всех надрывалась Вика, которая сделала, наверное, один шаг вперед от "кушать подаю", — и то, благодаря Марку. Сам именинник был в ударе:

— Вы что, думаете, "На склоне" — это обязательно — на склоне лет?

— Ну почему, — вставила Вика, — усадьба Карсавиных находилась как раз на склоне.

(Карсавин — главный герой, моя роль!)

— Нет, не то. Слишком прямолинейно, — скривился Марк, — это состояние упадка. У человека — глубочайшая депрессия, потеря смысла. Он живет всю жизнь, и в конце узнает, что жил напрасно. У него экзистенциальная фрустрация, он устал. Он даже не способен на самоубийство...

Я немного покряхтел и выдал:

— А я вот жил, жил, а мне еще не надоело. Если вас интересует мнение старика. Я бы выступил в роли... м-м-м, консультанта!

Марк будто и не слышал ничего:

— Что характерно для русской интеллигенции? — его взгляд, обращенный ко мне, говорил примерно: "Знай, сверчок, свой шесток".

— А по-моему, не надо доживать до седин, чтобы понять, что жизнь достаточно однообразна...

Ах ты ж, сучка. Однообразна! Экклезиаст в юбке. Я бы сделал тебе парочку однообразных движений, но слушать эту чушь...

— Однообразно что, — переспросил я, — чередование дня и ночи? Очереди? Человеческая пошлость? Что однообразно?

— Все предсказуемо, — проглотила эту наживку Вика, — а это достаточно скучно.

— Вы настолько знаете людей?

— Людей много, а мотивов значительно меньше, и они банальны.

Я рассмеялся старческим смехом:

— Хотите пари? Вы, иными словами, утверждаете, что в жизни нет сюрпризов?

На какой-то момент я хотел было раскрыться, но поборол искушение. Что мне — утирать нос Вике? У меня ставки покрупнее, чем эта кукла. Я вынул из кармана руку, зажатую в кулак:

— Угадайте, что у меня в руке?

Все переглянулись и заулыбались. Вика начала:

— Но... вы восприняли это так буквально...

— Коробка спичек, — предположил кто-то.

— Мундштук, — предположил Марк.

— Валидол, — мстительно улыбнулась рыжая.

— Пуговица.

— Там ничего нет?

Очередь дошла до итальянца, но он промолчал. Тогда я разжал кулак.

Все замерли, и моя челюсть затряслась "в беззвучном смехе". У меня на ладони лежала пачка "Стиморол". Как я понимаю Великого фюрера Адольфа Гитлера, который, едва слышав слово "интеллигенция", хватался за пистолет! Когда все челюсти снова приняли обычное положение, я продолжил:

— Вроде бы сверхбанально. И не диковина. Другое дело — вы от меня этого не ждали.

— У вас развитое чувство юмора, — сказала Луиза, впервые за вечер удостоив меня взглядом. Она явно имела в виду мои вставные челюсти, а значит, я и ее убедил.

Вика прыснула со смеху так искренне и по-простецки, что я готов был ее расцеловать.

Вскоре итальянцы укатили на марковом "мерсе". В образовавшемся вакууме я подсел к нему вплотную и сказал:

— Я рад за тебя. У тебя такие интересные друзья... Что у тебя еще слышно? Я же тебя полжизни не видел, а при них — спрашивать было неудобно...

— Ой, дядя Коля. Я такая свинья, — вздохнул Марк, и я понял, что самое время выпить. Он был уже более чем тепленький:

— Я такая сволочь... Даже к тете Ларе не...

— Не надо себя корить, Марик. Это жизнь такая. Ты хоть что-то успел, а я...

— Дядь Коль, да я тебе что угодно...

Вот он, подходящий момент!

— Марик, — начал я неспеша, — у меня тут неприятность случилась. Я хотел недельки две побыть у моря... Когда я еще выберусь? Помнишь, ты мне обещал Дом отдыха ветеранов? Так вот, я все — документы, паспорт, пенсионное, все это дома забыл. Положил на столе, а потом только в поезде вспомнил...

— Не надо даже думать об этом. Один мой звонок...

— Правда? Как хорошо! А у тебя милая жена, Вика. Красивая.

Я прикинулся дурачком. Вся киностудия, кроме, может быть, жены, — все знали, кем ему придется Вика.

— Это мой помреж. А жену зовут Алина. А почему бы вам не пожить у меня на даче, что ж мы, чужие?

— Нет, Марик. Я не хочу вас стеснять. Не спорь. У стариков — свои причуды. Да и вообще — среди ветеранов мне будет лучше. Все-таки, одно поколение... Хорошо?

— Ну, как хотите. Только зря. Насчет путевки, я, конечно, позвоню.
— Вот и славно, дорогой ты мой. Ох ты! Я и забыл! Проклятый склероз! Я же тебе гуся привез! Сам выкармливал.

Это был последний штрих. Живой гусь с Привоза, купленный на остатки денег, сидел в корзине, у входа на дачу.

— Бог ты мой! Спасибо! Спасибо от души. А с этим вопросом, считай, решено.

Марик был "никакой", называл меня то на "вы", то на "ты", улыбался. Я решил, что пора сделать последний ход:

— А, кстати, как с той Лидой? Ты понял, о ком я? Помнишь? — я подмигнул ему.

— Лида? Мы с ней в чудесных отношениях. Я иногда ее вижу. У нее сын — уже здоровый балбес. Тоже пытается работать на сцене. Я с ним возился в свое время, но толку не вышло.

Я пропустил это мимо ушей.

— Значит, вы... остались друзьями. Я рад. Если она меня вспомнит, мне было бы приятно ее повидать. Умненькая такая...

— Да. С ней интересно. Но — не сложилось. А я ей обязательно передам. Мы заедем, дядь Коля, обещаю.

— Вот и славно. Однако устал я ужасно. Эта дорога так изматывает...

Да. Я действительно устал. Хочу только спать. Своего я добился. Завтра я буду в Доме ветеранов, и туда приедут Марк с моей мамой. Ему некуда будет деваться.

22.

Я спал без снов и проснулся на раскладушке под вишнями. Это была моя мысль — спать в саду. Марка уже не было. Мы с Алиной попили чай, и вскоре пришел Вадик, которого Марк проинструктировал, куда меня отвезти:

— Марк Александрович уже обо всем договорился. Мы можем ехать прямо сейчас. Я на машине.

Вадик был вторым помрежем, исполнительной серой лошадкой.

Я попрощался с Алиной, и мы укатили. Ехали мы довольно долго. Я не знал, где находится Дом ветеранов, но Вадик вез меня, как Иван Сусанин, — петляя по задворкам. Наконец мы заехали на какой-то хоздвор. Я вылез из машины, проклиная "радикулит", а Вадик побежал договариваться с персоналом.

Наконец меня пригласили. Молоденькая медсестра в белом халате

усадила меня на стул и заполняла какую-то бумагу, что-то вроде санаторной карты. Потом она сказала мне, что нужно померить давление. Я не хотел закатывать рукав, но она обернула мне руку вверх и стала качать. Рука занемела, и когда воздух с шипением вышел, глаза ее округлились:

— Ничего себе! Да как же вы с таким давлением? Ведь у вас почти что криз! Ложитесь сюда, я вам укольчик сделаю. Не больно, честное слово.

Вот уж не думал! Я, наверное, действительно очень устал. Надо отдохнуть. Все уже позади, теперь только — набираться сил. Она сделала мне укол (чтоб у нее ручки не болели!) так быстро и незаметно, что я и не почувствовал. Я такой слабый, ужас! Голова стала свинцовой, и я провалился в сон.

23.

Сон!

Какая необъяснимая и волшебная штука! Какие потрясающие чудеса случаются во сне, а мы принимаем это за должное, или наоборот, удивляемся самым обычным вещам! Мне снилось, что я лежу в палате Дома ветеранов, а в изножье у меня стоят мама и Марк. Они смотрят на меня и говорят, так, будто я уже покойник. Марк, кажется, чем-то огорчен:

— Лида, ты узнаешь его?

Наверное, я очень "постарел". А она плачет. Никогда бы не подумал, что она так любила Николай Ивановича.

Мама говорит:

— Хорошо хоть Саша позвонил. И когда он мне прочел этот бред...

Марк начинает успокаивать маму. Я не понимаю, что такое ужасное ей цитировал Саша, и при чем он тут вообще. Марк говорит, что это, возможно, и не очень серьезно, и "его еще удастся поставить на ноги". Мама плачет опять. Марк говорит ей, что сам никогда бы не подумал, что такое может случиться. Что?

Входит Саша и уводит маму. Марк смотрит на меня долго, а потом тоже уходит. Захожу я. Я — лежащий старик, улыбаюсь себе — молодому: "Как мы их взули?". Заходит Николай Иванович, снимает очки, парик, усы, и подмигивает мне:

— А давай, Витя, мы их ВСЕХ обманем!..